

Асмодей Денница.



Московские СУМЕРКИ

Сыч&Сыр

18+

Асмодей Денница

МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ

«Автор»

2026

Денница А.

МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ / А. Денница — «Автор», 2026

Москва — не просто город. Москва — это огромная, отлаженная информационная система, где фонари подчиняются не диспетчеру, а настроению, реки помнят каждое слово, сказанное на берегу за тысячу лет, а под Кремлём спит то, чему лучше спать. Просто люди разучились это видеть. Пока однажды девятнадцатилетняя студентка строительного вуза Лиза Гроза не пошутила перед парнем: «Я ведьма!» — и в ту же секунду на всей аллее погасли фонари. Лиза не искала магию. Она хотела спокойно доучиться на инженера, спорить о пельменях и не опаздывать на пары. Но когда фонари гаснут по щелчку твоих пальцев, а по Москве-реке прогуливается говорящий кот-фамильяр по имени Асмодей, жизнь вносит коррективы в планы. На набережной её ждёт Эльвира Армагедонновна — Смотрительница Равновесия, ведьма в двенадцатом поколении, обладательница красного «Порше» (ведьминого помела двадцать первого века) и невероятного терпения. «Магия — это не фокусы с кроликами, — объясняет она, — это знание того, как устроен мир.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. В КОТОРОЙ ГОРОД ПРОСЫПАЕТСЯ, НО НЕ ГОВОРIT ОБ ЭТОМ ВСЛУХ	5
Глава 1. В которой фонари берут отпуск, а логика уходит в бега	11
Глава 2. В которой дама с котом знает о нас больше, чем мы сами	18
Глава 3. В которой набережная становится классной комнатой, а кот — лектором	24
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Асмодей Денница МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ

ПРОЛОГ. В КОТОРОЙ ГОРОД ПРОСЫПАЕТСЯ, НО НЕ ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ ВСЛУХ

Каждый город умеет молчать. Москва научилась молчать лучше всех — она целует веками и не проговорила ни разу.

Город просыпается раньше, чем люди. Точнее, люди считают, что они просыпают город, но это глубокое заблуждение, в котором виноват исключительно будильник, а будильнику вообще нельзя верить — он продажный, он работает за батарейки.

Москва поднималась вместе с первым трамваем, ещё до того, как рассвет прокрался на набережные с мокрыми лапами, обнюхивая парапеты, как собака, которая вернулась с прогулки и проверяет, не подложили ли ей чего нового в миску. Трамвай звякнул, звякнул одобритительно — контакты в порядке, рельсы холодные и честные, ничего подозрительного. Ранняя бабушка с тележкой пересекла дорогу на красный, потому что бабушки не считают светофоры частью своей реальности — они считают их навязчивой идеей городского транспорта, и, надо сказать, в какой-то степени они правы.

А потом город вздохнул.

Тот, кто стоял бы в это время на Боровицком холме, высоко, где ветер пахнет медью и старыми чертежами, мог бы заметить, как этот вздох прошёл по стенам Кремля — не как дрожь, а как проверка пульса. Как по мостам, по площади, по тоннелям метро, где ещё не проснулись вагоны, а только вентиляция тянула прохладу из-под земли, словно заглядывая в погреб за долголетней наливкой. Как по старым домам в Замоскворечье, где за окнами на подоконниках стояли герани-долгожительницы, пережившие несколько исторических эпох и, по слухам, одну революцию — с той стороны, с которой выгоднее.

Москва проверяла себя. Так проверяют Сеть: устойчивость узлов, целостность пакетов, отсутствие утечек. Город был прозрачным, отлаженным, работающим. И город был одинок — так одинок, как бывает только автомобиль на огромной пустой парковке в три часа ночи, которому никто не сказал, что шины надо менять, а он всё стоит и ждёт, когда наступит утро и дадут знак.

На Кремлёвской набережной, в тени стены, где асфальт старше некоторых государств, стояла женщина. Её никто не видел, потому что она этого не хотела. Она была частью сумерек той поры, когда ночь уже сдалась, а день ещё не оформил документы, — и в этом промежутке она чувствовала себя совершенно как дома. Когтистая. Тёмная. Тихо-певучая, как провод под напряжением.

— Ну, здравствуй, — сказала она ноющему небу. — Я снова здесь.

Никто ей не ответил. Она и не ждала ответа. Она просто вернулась после долгой отлучки — такой долгой, что даже стены успели забыть её имя, а то, что не стены, а город, уже начало подозревать, что она вообще никогда не существовала.

Женщина наклонилась и провела пальцами по трещине в асфальте. Трещина вздрогнула и стала чуть шире, как будто ей было приятно. В некоторых местах из трещин поднимался пар — древнее тепло, тепло земли, которая помнит времена, когда на этом месте не было ничего, кроме леса и очень плохих новостей.

— Тише, — улыбнулась она. — Я только послушаю.

Она слушала.

И вот что она услышала: город, который учится. Город, у которого появилась новая ученица — девушка с серо-синими глазами, которая ещё не знает, что мир говорит с ней шёпотом, и что она отвечает ему — произвольно, во сне, одной лишь игрой мышц лица, напряжением дыхания. Город, который по этому слабому, пока ещё неосознанному мостику передаёт ей свои знания, как передают пароль, который нельзя записать.

Женщина в тени улыбнулась шире, и от этой улыбки внезапно погас один из фонарей на противоположном берегу. Лампочка чисто и честно перегорела, как перегорают все лампочки, на которых слишком долго задерживается чей-то слишком пристальный взгляд.

— Ученица, — прошептала она. — У города теперь есть ученица. А у нас, — она сделала паузу и поправила на плече невидимую шаль, — у нас есть ты, девочка.

Где-то в районе Пушкинской набережной, в уютной квартирке на четвёртом этаже, девятнадцатилетняя Лиза Гроза спала и не знала, что этой ночью её имя произнесли вслух с другой стороны реки, в тени, где не растут даже тени.

Ей снился сон. В нём она шла по Москве, но Москва была не совсем такая, какой её знала Лиза: улицы были вымощены страницами из старых чертежей, вместо машин по ним ползли громадные счётные головы, а над крышами летали не голуби, а циркули с медными крыльями, оставляя за собой тонкие линии. Лиза шла и чувствовала, как земля под ногами пульсирует — ровно, надёжно, как сердце, которое не сбивается с ритма, даже когда храпит.

— Смотри, — шептал сон, и Лиза послушно смотрела. Она видела, как в фундамент древнего дома у самого Кремля заложен камень, который не был камнем: он был уплотнённым обещанием. Как на дне Москвы-реки вьётся змеей что-то бронзовое, длинное, терпеливое — то ли корень, то ли кабель, то ли хвост неведомой штуки, которая однажды решила, что проще стать частью системы водоснабжения, чем бороться со стихией.

— Запомни, — сказал сон, и Лиза кивнула, хотя не поняла половины.

А в тени на Кремлёвской набережной женщина закончила своё дело — что бы оно ни значило. Она встала, отряхнула длинную юбку, хотя на ней не было ни пылинки, и посмотрела на шпиль, на часы, на город. Потом она сделала то, чего не делала очень давно: она шагнула со стены на воздух и пошла по нему, спокойно, как по проверенной лестнице, вниз, к воде.

Москва-река не шелохнулась.

Она подошла к самой воде и встала на поверхность, а вода под ней не дрогнула и не мокнула — как будто женщина и река договорились заранее, что это просто очень длинное знакомство. Она шла по чёрной глади, и там, где наступал её каблук, на миг вспыхивала тонкая светлая дорожка — не отражение луны, которая ещё не встала, а что-то собственное, внутреннее, что вода принимала как пароль. Внизу, под ней, по дну тянулась та самая бронзовая змея-кабель, и пока женщина шла по ней, она слегка приподняла голову, как кошка, которую узнали.

— Не сейчас, — не оборачиваясь, негромко проговорила она кому-то невидимому у себя под ногами. — Рано. Спи дальше.

Вода под ней ничем не возразила, но змея-кабель опустила голову обратно, словно согласилась. Женщина остановилась на середине реки, посмотрела на противоположный берег, туда, где на четвёртом этаже уютной квартирке спала девушка с серо-синими глазами. Женщина не могла её видеть сквозь стены и расстояние, но она её видела — иначе и не скажешь. Она видела её так же ясно, как видит шахматист доску, на которую ещё не ступал ни один из его ходов, но которая уже вся расписана на десять партий вперёд.

— Ты ещё не знаешь, — сказала женщина реке, а реке — всем, кого эта женщина считала нужным посвящать, — не знаешь, девочка, что ты не последняя. Что тебя учили не только потому, что ты готова, но и потому, что мне давно пора сделать перерыв. Что за тобой будут следить внимательнее, чем за чужим пультом от телевизора.

Она помолчала, водя пальцем по глади воды, оставляя на ней дрожащий, быстро гаснущий круг.

— Но это потом. Всё по порядку.

Она сделала ещё шаг, потом ещё, и на последнем шаге начала мягко, без всплеска, опускаться — как отпущенный в прорубь поплавочек, как забытая на дне монета, как всё, что тонет не от тяжести, а от согласия. Вода сомкнулась над ней, не оставив ни круга, ни булька, ни благодарности.

— Всего лишь погостить, — бросила женщина через плечо, хотя рядом не было никого, кому стоило бы объяснять. — Ученица вырастет. Потом мы познакомимся. Всё по порядку.

Она ушла в реку, в тёмную воду, которая не отразила ни одну звезду, а потом и звезды погасли, потому что наступил рассвет, и по нему, как по очень старому сценарию, проехал первый трамвай.

Лиза проснулась в 7:43 от собственного крика.

Не то чтобы это был страшный сон. Сны не всегда бывают страшными, чтобы будить среди ночи — и даже не среди ночи, а в 7:43 утра, что вообще-то является самым неподходящим временем для крика, потому что к этому моменту ты уже должен спокойно завтракать и иронизировать над сводкой погоды. Просто во сне Лиза стояла на краю огромной пустоты, а в пустоте было написано её имя — крупными буквами, какие бывают на чертежах, и чей-то голос очень вежливо, очень спокойно, как будто речь шла о расписании электричек, произнёс: «Ты готова?».

И она ответила: «Да», не подумав.

Лиза села на кровати, прижала ладонь к груди и подождала, пока сердце утомится и перестанет исполнять марш на барабанах.

— Готова, — повторила она вслух и сама себе не поверила. — К чему я, интересно, готова? К экзамену по сопромату? К очереди в столовой?

В комнате пахло утренним кофе — Лиза нюхом угадывала, что соседка снизу опять делает «раф на овсяном», и этот запах поднимался сквозь пол с настойчивостью, которую уважали даже курсовые по вентиляции. На подоконнике ворковал голубь, который, судя по комплекции, питался лучше половины населения района. За окном Москва стояла обыкновенная: серая, спешащая, сонная, в весенней слякоти, которая умудряется быть грязной и прекрасной одновременно — как всё в этом городе.

Лиза вздохнула, потянулась и пошла чистить зубы.

И вот тут началось то самое обещанное утро, которое в учебниках по драматургии проскочили бы одной репликой «обстановка характера героя», а в жизни тянется со всеми подробностями, ради которых эти самые учебники и пишут. В ванной кончился шампунь, что было бы обидной пошлостью, если бы от неё не зависело настроение на ближайший час, поэтому Лиза умылась остатками геля для душа, который, как известно, на шампунь не очень похож, но все мы в этом городе когда-нибудь умывались тем, что нашлось быстрее. Зеркало честно показало ей заспанное лицо со следами подушки на щеке — след выглядел так, будто ночью по щеке кто-то проехался каблуком, и Лиза машинально потёрла его ладонью, будто это могло помочь.

Зубы она чистила стоя у окна, потому что только так её утро складывалось в единую картину: левая рука делала своё дело с пастой, а правая расчёсывала спутанную после сна косу, и обе эти операции требовали зрительного контроля, иначе коса получалась кривой, а щёки — не доматыми до конца. За окном в это время город жил своей обычной неспешной жизнью: дворник дядя Саша, который почему-то носил вёдра с водой, хотя у него, по слухам, была норма, — сметал с тротуара вчерашнюю шелуху; бабушка с первого этажа выгуливала таксу, которая при виде каждой лужи делала вид, что она тут вообще ни при чём; по набережной, мигая огоньком, проехал кто-то на электровелосипеде, чересчур бодрый для семи утра.

Лиза смотрела на всё это и думала, что мир — огромный, отлаженный механизм, в котором каждый винтик по своему месту, и что ей, винтику, почему-то после этого сна вдруг показалось, будто все соседние винтики смотрят на неё с каким-то новым, неприятно внимательным сочувствием.

Может, поэтому она и заметила ворон.

Они сидели на подоконнике втроём, рядышком, словно пришли на приём и были записаны заранее. Вороны вообще-то на подоконниках не сидят — им больше по душе карнизы, деревья, памятники и те места, откуда можно свысока наблюдать за мусорными баками. А эти три расположились на самом краю, лицом к комнате, и смотрели на Лизу тем самым взглядом, каким, наверное, смотрели экзаменаторы в прошлом семестре, когда она путалась в вопросе про устойчивость ферм. Не насмешливо. Выжидательно. С таким видом, будто от ответа зависела оценка, которую они давно для себя выставили, но из вежливости ждали, что она сама до неё дозреет.

— Кыш, — неуверенно сказала Лиза, помахав зубной щёткой. От казённой этой попытки вороны не улетели. Одна из них наклонила голову, как будто переспросила, и хрипло, по-своему, что-то произнесла — похоже на «э-э-э», только длиннее и с подозрением.

Лиза махнула на них полотенцем, и вороны, посоветовавшись, взлетели нехотя, по очереди, как будто их выпроваживали без положенных им комплиментов. Последняя, улетающая, глянула на неё ещё раз — через плечо, то есть через крыло — и Лизе на секунду показалось, что у вороны изумрудные глаза. Но это, наверное, просто отсвет; в этом городе по утрам всё какое-то отсвечивающее.

Лиза вернулась к зеркалу и застыла с расчёской в руке.

На столике у зеркала, среди заколок, резинок и одной потерянной сережки, о которой она забыла недели две назад, лежала плоская деревянная шкатулка. Шкатулку эту Лиза держала от бабушки — от той самой бабушки, про которую домашние говорили «была с характером», но говорили тоном, каким говорят «была грозой», то есть вполголоса. Внутри лежали пуговицы, две старые монеты с дырками, засушенный цветок, который не вял уже лет десять, несмотря на все законы ботаники, и старые фотографии.

Лиза открыла шкатулку, как открывала раз в сто дней, когда нечем было занять руки, и перебрала пуговицы. Монеты звякнули. Цветок, как всегда, не выглядел ни капли суше, чем вчера, что молча подтверждало его подозрительную природу. А под фотографиями, на самом дне, лежала та самая, которую Лиза показывала только Сереге, да и ему неохотно, потому что сама не понимала, почему она её бережёт.

На фотографии — старой, с рваными зубчатыми краями, в потускневшей сепии — стояла женщина на колокольне в грозу. Над ней небо было не то чтобы чёрное, а как будто написанное с нажимом: тяжёлое, готовое рухнуть. Молния зависла в кадре ветвистой белой трещиной, и Лиза, сколько ни всматривалась, не могла понять, успела ли молния ударить или ещё только собирается. А женщина на колокольне стояла спокойно, как стоят перед собственным домом, когда ждут гостей, которых и просили прийти, и немного боялись. Лица её почти не было видно — ветер сорвал косынку, лицо вполоборота, — но поза была уверенная, чужая, не для такой хрупкой фигуры в длинной юбке.

Лиза не знала, кто эта женщина. Бабушка про фотографию говорила уклончиво — «родственница», — а когда Лиза пыталась уточнить, кто именно, отмахивалась словами «все мы ему родственники» и уводила разговор к обеду. Так что фотография лежала в шкатулке без имени, и Лиза к ней привыкла, как привыкают к загадкам, на которые нет времени.

Сегодня она почему-то задержалась на ней дольше обычного. Всмотрелась в грозное небо, в спокойные плечи, в молнию, которая всё никак не могла решить, ударять ей или нет. И впервые за всё время ей показалось, что женщина на колокольне смотрит не на грозу, а куда-

то вбок, на тот берег, туда, где через десятки лет будет стоять на набережной другая женщина и слушать, как спит девушка с серо-синими глазами.

— Пф, — сказала Лиза самой себе, закрывая шкатулку. — Я сегодня переспала, вот и мерещится.

Но рука её, закрывая крышку, на миг задержалась, и она не сразу её убрала.

Кофе был выпит. Джинсы, как выяснилось, сушились на батарее всю ночь и дошли до абсолютно приемлемой кондиции «почти сухие», что в транспортном колледже считалось лучше, чем «сухие, но мятые». Лиза собрала рюкзак, в который влезли тетради, конспект, сломанный циркуль, который она обещала себе починить уже второй месяц, и яблоко, которое она взяла скорее для моральной поддержки, чем для еды. В дверях она обернулась, посмотрела на подоконник, где вороны недавно сидели экзаменаторами, потом на шкатулку, потом на окно, за которым уже начиналось то самое утро, в которое, как она ещё не знала, ей предстояло узнать слишком много.

— Гроза, — сказала она вслух, пробуя своё имя на вкус. — Гроза. Ты вообще-то вчера видела, что ты опять забыла про микроволновку. Так что давай без паники, ладно?

С этим она и вышла, а за дверью, в коридоре, вдруг так резко пахло сырой землёй и старым железом, что Лиза на миг остановилась, оглянулась — пусто — и приписала это сквозняку. Москва-река была за три квартала, но по утрам, в эту пору, от неё тянуло, как от всего честного и древнего, что спит под слоем цивилизации и время от времени шевелится во сне.

Она ещё не знала, что её жизнь только что вступила в ту самую стадию, о которой говорят: «всё изменится, и поначалу даже в лучшую сторону». Не знала она и того, что сон, в котором она бродила по чертёжным улицам и кивала циркулям, не был сном.

Это был первый урок.

И надрюгом конце города, в кабинете, где на стене висела карта, испещрённая линиями, которых не найти ни в одном атласе, Эльвира Армагедонновна отложила в сторону прибор, похожий на гибрид барометра и слухового аппарата, и удовлетворённо кивнула.

— Слышишь? — спросила она кота, который сидел на краю стола и чистил лапу с видом человека, решившего все мировые проблемы ещё в Средневековье. — Проснулась. И, заметь, сразу ответила.

— Отвечает, не подумав, — кот не поднял головы, продолжая полировку, но его изумрудные глаза опасно сверкнули в прорехе между ушами. — Это плохая привычка для ведьмы. Хорошая ведьма сначала думает, потом отвечает, а потом уже делает вид, что ничего не говорила. У нас в этот момент появляется время на носки, а у неё — время на проблемы.

— У неё есть время, Мотя, — мягко заметила Эльвира. — Она молодая.

— Время, — фыркнул кот, наконец завершив одну лапу и перейдя к другой, — есть у всех, кроме тех, кого оно не дождалось. И если я правильно понимаю сигналы этого вашего барометра, а я понимаю их правильно, потому что я всё понимаю правильно... — он сделал значительную паузу, — то она у нас, боюсь, повзрослеет быстрее, чем в её институте прочитают курс высшей математики.

Эльвира подошла к окну и посмотрела на город, который жил своей обычной жизнью, не подозревая, что на него только что смотрели из тени, из реки, из сна, из-под земли.

— Погоди, — сказала она, не то коту, не то городу, не то самой себе. — У нас есть ещё немного времени. А потом... — она улыбнулась уголком губ, — потом мы познакомимся.

Кот закончил полировку, лихо пригладил усы и уже собрался снова замолчать, как вдруг замер, приняв себя к чему-то, чего Эльвира не чувствовала.

— А ещё, — сказал он небрежно, будто упоминая погоду, — я чувствую, что ваша ученица сегодня утром разглядывала какую-то старую фотографию. Колокольня. Гроза. Женщина.

Руки Эльвиры, собиравшей прибор в чехол, замерли на секунду.

— Ту самую, — сказала она, и это был не вопрос. — Ходит же она за ней следом, фотография эта. Не могу понять, к чему она её бережёт.

— Может, чувствует, — сказал кот и, чуть помолчав, добавил со знанием дела: — У родни так бывает. Свои люди, свои фотографии, своя грозная генетика. Не зря же её, по вашим же бумагам, Гроза зовут.

Эльвира ничего не ответила, но окно, у которого она стояла, на миг запотело по кругу, как будто с той стороны к стеклу прижалось что-то дышащее.

Где-то на Кремлёвской набережной, у самой воды, на мокрой траве лежал маленький листок, снесённый ветром, которого никто не видел. На листке было написано одно-единственное слово, выведенное как будто детским почерком, но почему-то очень старым:

«СКОРО».

Ветер поднял листок, покрутил его в воздухе, словно соскучился, и опустил прямо в реку. Москва-река приняла послание молча: она давно научилась не удивляться, что в ней тонут не только письма, но и предчувствия.

А тем временем в маленькой квартирке на Пушкинской набережной Лиза Гроза выпила кофе, надела джинсы, в которых удобнее всего было не высовываться из-за парты, и собралась на учёбу. Она посмотрела в зеркало на своё полноватое лицо, на серо-синие глаза, на взлохмаченную после сна косу, и сказала себе, как говорила каждое утро:

— Гроза. Гроза. Ты справишься.

Пока она это говорила, где-то глубоко под Кремлём, в помещении, которое не значилось ни на одном плане, очень старый механизм провернулся на пол-оборота — так проверяются узлы, так снимается предохранитель, так просыпается тот, кто спал не потому, что устал, а потому, что ждал, когда о нём вспомнят.

Механизм звякнул тихо, будто извиняясь.

И в этом тихом звяканье городу показалось, что у него наконец-то появилась учительница — только он ещё не знал, какая именно.

Но он скоро узнает.

Всё по порядку.

Глава 1. В которой фонари берут отпуск, а логика уходит в бега

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОГДА ПОДРУЖКА — ВЕДЬМА

Если споришь с ведьмой о мороженом — ты уже проиграл. Вопрос лишь в сумме ущерба.

Вечерний парк, обычно уютный и тихий, сегодня казался пропитанным какой-то особой, предгрозовой атмосферой. Воздух густел, словно кисель, который забыли на плите; звёзды ещё даже не успели толком выкатиться на небесный картон; а между Лизой и её парнем, Серегой, назревал спор. О чём? Да кто же помнит! Кажется, о том, стоит ли есть мороженое перед сном (Лиза настаивала, что это успокаивает нервы и способствует красочным сновидениям о жарких странах; Серега — что это вызывает кошмары, в которых за тобой гонятся злые пингвины), или о том, чья бабушка лучше готовит пельмени (спорная территория, где ставки были высоки, а перемирие невозможно в принципе). В общем, из разряда «высоких» материй, которые женщины так любят разрешать на закате, а мужчины — бесконечно затягивать, путая причину и следствие.

Точнее сказать, спор разросся, как хороший сорняк, из одной маленькой реплики, которую оба успели забыть, но оба продолжали её оплодотворять своей принципиальностью. Всё началось с того, что Лиза достала из сумки вафельный стаканчик («холодильник сломался, Сереж, он нагрелся до комнатной температуры, пропадёт же») и с умным видом укусила готовый к бою пломбир. Серега, вместо того чтобы благоразумно промолчать, открыл рот, и из этого рта вывалилась катастрофа:

— Женщине в твоём положении нельзя простудное, — сказал он таким тоном, будто озвучивал медицинский бюллетень.

— В моём положении, — переспросила Лиза, прищурившись, — это в каком же?

— В положении человека, который завтра встаёт в семь, — Серега развёл руками, как будто объяснял трёхлетнему ребёнку, почему нельзя совать пальцы в розетку. — А потом ещё и пары. А потом ещё и тот самый сопромат, про который ты сама заикнулась. Отморозишь голову — и кто тебе конспекты будет перерисовывать?

— Во-первых, — Лиза подняла палец, как делают люди, когда собираются изложить программу, — злые пингвины не подтверждены наукой. Во-вторых, я сопромат не заикала, я его просто упомянула. А в-третьих, если дело в мороженом, то почему тогда пельмени каждый раз всплывают?

— Потому что пельмени — это другое, — уверенно заявил Серега. — Пельмени — это еда. Еда согревает. А мороженое — это холодная еда, которая сделана из холода, чтобы холодно замораживать твой холодный мозг. Это же логика.

— Сережа, — ласково, как в маковом молочке, произнесла Лиза, — ты понимаешь, что твоя логика устроена как инструкция к микроволновке?

— И что в этом плохого? — Серега искренне обиделся. — Микроволновка — надёжная вещь. Нажал кнопку — получил результат. Так и в жизни должно быть. Нажал «разогреть пельмени» — получил пельмени. Нажал «не есть мороженое» — получил здоровую психику. Всё чётко.

— Но ты же не читаешь инструкцию к микроволновке вслух человеку, который просто хочет есть мороженое, — вздохнула Лиза. — Ты же наслаждаешься процессом, Сережа. Ты зачитываешь её как Устав, а Устав, между прочим, читают только в казарме, и то по приказу.

— А вот и ничего подобного! — Серега даже притопнул, и от этого притопа с ближайшей ветки сорвалась и унеслась в темноту какая-то возмущённая птица. — Устав читают народу

на площади. Это я как будущий инженер говорю. Порядок — превыше всего. Без инструкции люди садятся за руль без прав, пекут печенье без соды и едят мороженое на голодный желудок.

Лиза посмотрела на него долгим, испытующим взглядом, каким смотрят на человека, который излагает глубоко ошибочную теорию, но делает это настолько искренне, что почти убеждает.

— Ты хоть понимаешь, — медленно сказала она, — что в споре о мороженом ты объявил себя единственным в мире судьёй Пельменного Трибунала? Что пельмени, по-твоему, не еда, а так, бонусный блок в регламенте? Что ты сейчас проиграл уже в трёх местах: в теме, в подходе и в том, что опять не признал, что бабушкины пельмени у нас вкуснее, потому что твоя бабушка пельмени делает из магазинного фарша, а это уже почти преступление?

— Это не преступление, это экономия, — обиженно буркнул Серега. — И вообще... личностная дискриминация. Ты не даёшь мне высказаться.

— Высказывайся, — великодушно разрешила Лиза и откусила кусочек мороженого, нарочно громко, потому что была маленькой ведьмой уже тогда, даже если сама об этом не знала.

Серега набрал в грудь воздуха, как делают перед нырянием, и принялся излагать. Он говорил про то, что мороженое перед сном заставляет мозг работать ночью, потому что мозг переваривает холод (это научный термин, он где-то слышал); что пломбир — это «сахарный ватрушный компромисс», непонятно даже ему самому; что он, Серега, «несёт ответственность за двоих», потому что Лиза никогда не следит за собой, а он следит. Излагал он это по-своему, а именно с той обстоятельностью, с какой чинил бы сломанное колесо: сначала долго крутил бы его в руках, потом постучал бы, потом сказал бы «вот же зараза», а потом всё-таки починил бы, потому что руки у него золотые, и вся беда была лишь в том, что эти золотые руки прилагались к железобетонной схеме мира.

Лиза, надо отдать ей должное, слушала. Она слушала про пингвинов, про холодный мозг, про ответственность за двоих, и в глубине души, между прочим, её даже что-то трогало — ну, сам факт, что он переживает, хотя и по-дурацки. Но поскольку момент был вечерний, парм было много, а пломбир таял, она решила, что хватит торжества логики, и пора пустить в ход тяжёлую артиллерию.

Серега, надо отдать ему должное, был настойчив. Его брови сходились на переносице, как два упрямых хомяка, готовящихся к зимней спячке и не поделивших последнее зёрнышко; а голос становился всё более категоричным, словно он зачитывал вслух инструкцию к микроволновке, нарушение пунктов которой каралось немедленной смертью. Лиза же, понимая, что сейчас начнётся священная битва логики (Серegiной, железобетонной, как стена плача) против эмоций (своих, текучих, как ртуть, и таких же опасных), решила прибегнуть к проверенному, но редко используемому оружию.

Она легонько толкнула его в плечо, озорно прищурилась и, глядя прямо в его расширяющиеся от предвкушения очередного раунда спора зрачки, произнесла с самым невинным видом, на который только была способна:

— Серезенька, миленький, не спорь со мной. Я ведьма!

Она ожидала смеха. Она ожидала, что он закатит глаза и скажет что-то вроде: «А я тогда Гарри Поттер, и моё заклинание сейчас заставит тебя замолчать поцелуем». Но вселенная, которая, как известно, питается человеческими ожиданиями и переваривает их в нечто совершенно непредсказуемое, решила иначе. Именно в этот момент, как по чьему-то злому замыслу — или, возможно, по замыслу самой Лизы, она всегда была склонна к драматизму и, чего уж греха таить, немного к показухе, — произошло нечто странное.

Один за другим, словно перепуганные светлячки, фонари на аллее начали гаснуть. Не просто мигать, не просто тускнеть, отчаянно борясь с надвигающейся темнотой, как это обычно бывает при перепадах напряжения. Они исчезали. С тихим, извиняющимся шипением, словно

кто-то задувал свечи на огромном торте. Один, второй, третий... Аллея, только что залитая мягким жёлтым светом, погружалась в бархатную, пугающую темноту, словно кто-то невидимый, огромный и очень капризный выключал свет по всей улице, ворча себе под нос.

Лиза успела увидеть, как лицо Сереги, только что горделивое и уверенное в своей правоте по пельменному вопросу, превратилось в маску чистого, незамутнённого ужаса. Глаза его, казалось, вылезли из орбит настолько, что могли бы служить компасом для заблудившихся кротов; а губы растянулись в беззвучном крике, достойном лучшей сцены из хоррора, который снимают за три копейки, но с большой душой. Он посмотрел на неё, потом на почерневшие, словно обугленные, столбы фонарей, потом снова на неё. В его голове, вероятно, с треском ломались все известные ему законы физики, а учебник по ОБЖ самоликвидировался, не выдержав нагрузки.

— Лиза... — выдохнул он, и голос его был таким тонким, словно он вдохнул всю темноту парка и она превратилась в панику, сгустившуюся в его лёгких. — Ты... Ты серьёзно?

Лиза лишь улыбнулась. По спине пробежал холодок, но это был не тот холодок, от которого стынет кровь и хочется бежать в ближайшее отделение полиции. Это был холод предвкушения. Шелест листвы вокруг внезапно показался ей шёпотом древних лесов, осуждающих Серегину настойчивость и его полное неумение признавать женскую правоту; а тени стали глубже и загадочнее, словно готовые поглотить нечто большее, чем просто парковую аллею. Например, Серегино самомнение.

— А разве я шучу? — промурлыкала она, делая шаг к нему. Её каблочки тихо цокали по мокрому асфальту, и каждый звук казался в этой тишине оглушительным, подчёркивая нарастающее напряжение, словно удары барабана перед казнью.

Серега не стал даже пытаться понять, шутит она или нет. Его инстинкт самосохранения, видимо, был гораздо более развит, чем его умение вести споры о пельменях. Он издал какой-то непонятный звук, похожий на сдавленный вопль перепуганной чайки, которой только что вручили вместо рыбы камень, завёрнутый в газету с прогнозом погоды, — и рванул.

И вот тут-то и началась настоящая комедия ужасов. Серега бежал так, словно за ним гналась стая голодных зомби, а в руках у него была последняя в мире упаковка любимых чипсов (конечно же, хрустящих, от которых невозможно оторваться, даже если тебе угрожает нечистая сила). Он спотыкался о корни деревьев, которые, казалось, специально вылезали из земли, чтобы поучаствовать в этом аттракционе; врезался в пышные кусты сирени; отскакивал от стволов, как резиновый мячик, но не останавливался. Его силуэт мелькал в редких проблесках уличного света, который теперь, казалось, включался по какой-то зловещей, случайной схеме, и каждый раз, когда он спотыкался, казалось, что его вот-вот поглотит темнота, словно она сама протягивала к нему свои холодные, шершавые лапы.

Лиза осталась стоять на аллее. Сердце её колотилось не от страха, а от какого-то дикого, первобытного веселья. Она слышала, как удаляется топот его ног, как он сбивает шляпки грибов (за что, наверное, потом придётся отвечать перед лешими) и, кажется, даже натывается на чью-то забытую кем-то скамейку, которую, вероятно, тоже следовало считать виновной в происходящем.

«Ну и убегай, трусишка серенький, — подумала она, глядя, как его фигура окончательно растворяется в темноте, и в этот момент её глаза сверкнули зеленовато-фосфорным светом, словно два маленьких маячка в наступающем мраке. — Зато теперь ты точно знаешь, с кем не стоит спорить. Особенно о мороженом».

Последний фонарь за её спиной погас окончательно, издав напоследок жалобный, почти человеческий вздох. Аллея полностью погрузилась во мрак. Но Лизе казалось, что она видит всё: как тени сгущаются, как ветви деревьев изгибаются в причудливые фигуры, похожие на танцующие скелеты, и слышит тихий, довольный смех, который, казалось, раздавался отовсюду — из-под пеньков, из-за кустов, из глубины её собственной души.

Сергея, наверное, добежал до оживлённой улицы, переводя дух и причитая что-то про «подружку-психопатку», которая явно пересмотрела фильмов ужасов и, что хуже, поверила в них. Он, трепеща, поклялся себе никогда больше не спорить с Лизой, особенно по поводу мороженого, пельменей и всего, что имеет хотя бы отдалённое отношение к загробному миру. А Лиза? Лиза просто пошла дальше по своей тёмной, теперь уже по-настоящему волшебной аллее, в свете луны, которая, к слову, выкатилась на небо с виноватым видом, словно опоздала на собственное представление. Она чувствовала, как пробуждается в ней что-то древнее и могущественное. И она знала, что теперь её прогулки по парку станут гораздо, гораздо интереснее. Особенно когда рядом не будет того, кто осмелится с ней спорить. Ведь иногда, чтобы разбудить в себе настоящую магию, достаточно всего лишь пары погасших фонарей и одного очень испуганного парня.

Она шла по аллее, и тишина после убежавшего Сереги была такой полной и звонкой, что Лиза впервые за вечер услышала себя саму. Слышала, как хрустит под ногами щебень, как собственная коса шуршит по куртке, как сердце ещё достучивает остатки того первобытного веселья — а где-то рядом, под тем самым ритмом, будто подложка, бился ещё один пульс. Более низкий. Более древний. Такой, какой, наверное, чувствуешь, если положить ладонь на землю там, где под асфальтом тянется то ли корень, то ли кабель, то ли спина огромного чего-то, что давно научилось быть частью города.

— Это же я, — сказала Лиза вслух и сама удивилась своему голосу. — Я это сделала. Наверное. Или это совпадение?

Она подняла ладонь, разжала пальцы и посмотрела на них. Ничего особенного: обычные руки с обычным лаком, который облупился на одном ногте ещё в четверг. Но в кончиках пальцев, в самых-самых подушечках, всё ещё жило то самое лёгкое покалывание, вроде бы от электричества, а вроде бы от чего-то, что электричеству только в бабушки записалось.

— Ладно, — решила она, убирая руки в карманы, чтобы не искать приключений раньше времени. — Допустим, фонари — случайность. Допустим, вороны, которые на меня смотрели утром, — просто вороны. Допустим, сон про чертёжные улицы — сон. Но если это не случайности, а что-то другое... — она зажмурилась и прошептала: — То я даже не знаю, что мне делать.

И тут же, как по команде, её осенило: а никто и не требует, чтобы она знала. Из темноты, из-за кустов, из-под пеньков до неё вдруг донёсся тот же тихий, довольный смех, что и раньше, — но теперь он звучал иначе. Не издевательски, а скорее подбадривающе: мол, «вижу, девочка начинает понимать, что понимать сразу и не обязательно». Лиза улыбнулась этому смеху, как старому знакомому, и пошла дальше, в глубину парка, туда, где дорожки ветвятся, где пруды блестят в лунном свете, где никто не мешает.

Парк к этому часу почти опустел. Где-то далеко лаяла собака, где-то хлопнула калитка; по главной аллее прошёл запоздалый мужчина с собакой, но и он свернул на освещённую улицу, подальше от тёмной глубины. Лиза осталась одна, и одиночество это было не пустым, а как будто населённым: ей казалось, что за ней кто-то наблюдает из-за каждого ствола, но не зло, а с той терпеливой пристальностью, с какой садовник наблюдает за рассадой, которая должна взойти со дня на день.

На повороте тропинка сузилась, спустилась к пруду, и Лиза вышла на старую деревянную площадку, где летом продавали квас, а зимой — ничего, потому что зимой тут дуло. Пруд лежал перед ней чёрный и гладкий, как хорошо протёртый стол, и в его глубине, сквозь рябь, жило отражение луны — одно, чуть вздрагивающее, словно луна ныряла и выныривала, проверяя, не утонул ли кто.

Лиза подошла к перилам и замерла, глядя в воду.

В отражении, на самом краю площадки, чуть левее того места, где стояла она сама, вдруг замаячил другой силуэт. Не её. Ровный, спокойный силуэт женщины в длинной юбке, стоящей

на воде — на самой глади, не ныряя. Лиза моргнула, и силуэт исчез, оставив только лягушку, которая деловито пересекла пруд и нырнула с характерным шлепком.

— Приснится же, — сказала Лиза воде, но голос её прозвучал неуверенно.

Она постояла ещё немного, вслушиваясь в себя. Покалывание в пальцах не утихало — наоборот, рядом с водой оно стало настойчивее, как будто что-то во всём этом городе, во всей этой влажной весенней ночи отвечало ей на какую-то ещё не сказанную просьбу. Лиза не знала, о чём просит, но ей вдруг стало не страшно быть собой — полноватой, с облупленным лаком, с вечной своей неуверенностью. Что-то в этой тёмной воде, в этом пустом парке, в этих погасших по её слову фонарях подсказывало ей, что быть собой — это только начало, и что дальше будет, мягко говоря, любопытно.

— Ладно, — сказала она пруду, как договариваешься с трудным, но честным собеседником. — Значит, будем разбираться. По порядку.

С этими словами она развернулась и пошла обратно по тропинке, к выходу из парка. Вода за спиной не возмутилась, и только через минуту из чёрной глади, без единого всплеска, поднялась тонкая светлая дорожка — та самая, которая появляется, когда по воде идёт тот, кого вода знает, — но Лиза её уже не видела.

Тропинка вывела её на боковую аллею, которая, петляя между стволами, вела к самым воротам. Здесь было светлее: фонари горели, хотя и с каким-то утомлённым видом, будто уже насмотрелись на этот день. Лиза шла, опустив голову, перебирая в памяти то одно, то другое, когда впереди, футах в десяти, она заметила, что дорожку ей перегородили.

Два кота. Один чёрный, круглый, как письмо «О», с белыми перчатками на всех четырёх лапах; второй серый, полосатый, тощий, с ободранным ухом и глазами цвета старого пива. Они сидели посередине тропинки, лицом к Лизе, и смотрели на неё с таким видом, с каким смотрят на человека, которого ждали, но при этом не слишком удивлены, что он пришёл.

Лиза остановилась. Коты переглянулись. Чёрный, как будто бы старший, медленно поднял переднюю лапу в перчатке, посмотрел на неё, потом на Лизу — и так же медленно, церемонно, как на приеме, отступил влево, на газон. Серый, помедлив, чуть склонил голову — совсем чуть-чуть, едва заметно — и отступил вправо. Дорога очистилась.

Сердце у Лизы ёкнуло. Никогда ещё ей не уступали дорогу коты. Собаки — да, бывало, по глупости. А коты — это совсем другое. Коты не уступают дорогу никому. Коты либо сидят, где хотят, либо исчезают, когда им надоело, но чтобы коты вот так, вдвоём, на полном серьёзе — разошлись в стороны и дали пройти человеку, да ещё той самой дорогой, по которой он шёл...

— Спасибо, — сказала Лиза, сама не зная, зачем, и прошла между ними.

Чёрный кот, когда она проходила мимо, коротко мурлыкнул — не угрозой, а так, чем-то вроде «смотри у нас, девочка, но пока можешь идти». Серый промолчал, только проводил её взглядом до самых кустов.

Лиза обернулась на повороте аллеи: коты стояли на прежних местах — чёрный на газоне слева, серый справа, — как пара часовых, и смотрели ей вслед. Потом, словно решив, что пост выполнен, разом, без сговора, развернулись и растворились в темноте.

«Интересно, — подумала Лиза, — коты вообще-то бывают таких... понимающих?» Раньше она бы списала это на совпадение и на свою разыгранную фантазию, но в этот вечер совпадения кончились ещё тогда, когда погас первый фонарь. Она чувствовала, что этот город, вся эта влажная весенняя ночь, начинают обращаться с ней иначе — не как с равнодушной жительницей, которой всё равно, а как с кем-то, кто, возможно, стоит того, чтобы коты вставали и уступали дорогу.

У самого выхода из парка, прямо под фонарём, который — что было совершенно неслыханной дерзостью — горел и даже не мигал, на скамейке сидел пожилой мужчина и кормил голубей батоном. Голуби, надо сказать, относились к его щедрости с прохладцей: они уже наелись, но из вежливости клевали.

— Здорово, девонька, — сказал дед, не оборачиваясь. — Шуму вы тут наделали. Спишь, спишь, а тут тебе свет по всему району вырубило.

— Извините, — автоматически ответила Лиза и замерла. С какой стати она извиняется перед незнакомым дедом за отключение света, которое произошло само по себе?

— Да ничего, — дед отмахнулся, — я всё понимаю. У меня тоже бабка была — как скандал затеет, так у соседей телевизоры выключались. Святой была женщиной, но с характером, каких сейчас не делают. Ты, главное, не пугайся. Силёнок много — это не беда. Беда, когда они в неправильную сторону текут.

Лиза хотела спросить, что он имеет в виду, но дед вдруг причмокнул голубям, докормил их последним куском и, не спеша, устроился на скамейке поудобнее, стряхнув с колен крошки, как будто собирался вести долгий и неторопливый разговор.

— Куда ж они, говорю, текут-то, — продолжал он, не глядя на неё, а глядя куда-то в темноту аллеи, туда, куда недавно убежал Серега. — Силёнки-то. Ты, поди, думаешь, я про тебя, про фонари. А я про всех вообще. Каждому, кто просыпается, — а ты, девонька, сегодня, кажись, проснулась, по глазам вижу, — каждому такому надо помнить одно: сила сама по себе — как вода в реке. Вода в реке сама по себе не плоха и не хороша, она просто течёт. А вот куда её пустить — то уже решают берега. Пустишь в правильное русло — напоит сады. Пустишь в неправильное — размочит всё, что берегла.

Он пошевелил бровями, как будто припоминая что-то своё, давнее.

— У меня бабка-то, царствие ей небесное, — а она была, между прочим, из таких же, как ты, беспокойных, только в своё время, когда за такие штуки и слов таких не знали, — так вот, бабка моя всегда говорила: «Сосиски — и те нельзя есть не с той стороны». Это она, понятное дело, шутила. А всерьёз говорила: «Сила не в том, чтобы мочь, а в том, чтобы знать, когда не надо». Вот и тебе так же советую. Помочь с мочой — не беда, помочь с надо — вот это уже наука. Но и это, — дед поднял палец, — не навсегда. Времени у тебя, по моим прикидкам, пока хватает. Ты поспешай, да не торопись. Понял?

Лиза поняла, разумеется, не всё. Но даже то, что поняла, ошеломляло: этот дед, сидящий на скамейке под тем самым фонарём, что «дерзостно горел», знал про неё больше, чем она сама сообщила за весь вечер. Он говорил о её силе, о её бабушке (у которой, между прочим, действительно была «та самая» шкатулка), о течении, в которое она, похоже, попала.

— Вы... — начала она и запнулась. — А вы кто такой, что вам известно?

— Я? — дед добродушно хмыкнул, отряхивая с ладоней последние крошки батона. — Да кто я такой, девонька. Сторож я. На парк я тут, на голубей, на всю эту тихульки гляжу. Давно гляжу. — Он почесал подбородок и добавил уже тише: — И за порядком тем, что ты почуяла, тоже, выходит, поглядываю. Не пугайся, не в обиду. От таких, как ты, я не то чтобы отворачиваюсь, а примечаю. Как же иначе-то.

— Значит, вы видели... фонари? — спросила Лиза, не веря себе до конца.

— И фонари видел, и котов твоих всяко знаю, — дед усмехнулся. — Они, правда, здесь не первый год. Ты им глянулась. Это, девонька, хороший знак. Коты плохому не уступают дорогу, они его либо обходят, либо ждут, пока рассосётся. А тебе — уступили. Запомни это. И что я про реку сказал — запомни тоже. Силёнок много — это не беда. Беда, когда они в неправильную сторону текут.

Он повторил эти слова так, будто в первый раз, так, что Лиза поняла: первое «дедко» было как бы вскользь, а это — уже как завешание.

Прежде чем Лиза успела спросить что-то ещё, дед вдруг поднялся, отдал голубям остатки батона и ушёл в темноту аллеи, не прощаясь, — спокойно, без спешки, словно его ждали дела поважнее, чем объяснения случайным прохожим.

Лиза посмотрела ему вслед, пожала плечами и пошла домой, решив, что сегодняшний день и без того достаточно странный, чтобы добавлять в него ещё и загадочных стариков, раздающих советы голубям. Но слова деда не уходили из головы.

Глава 2. В которой дама с котомзнает о нас больше, чем мы сами

Случайности не случайны. Особенно когда пахнут озоном.

Лиза вышла из парка, всё ещё ощущая лёгкое покалывание в кончиках пальцев — следствие недавнего спора и, возможно, кратковременного управления городской осветительной сетью силой мысли. Ночь навалилась на город мягкой, уютной лапой, обещая скорый дождь. Пушкинская набережная простиралась перед ней, мерцая огнями вдалеке, словно растянувшаяся на земле галактика. Москва-река лениво дышала у парапета, отражая огни противоположного берега: монументальные здания Фрунзенской набережной, подсвеченный шпиль МГУ вдали и огромный, золотой купол Храма Христа Спасителя, похожий на гигантский свадебный торт, который забыли убрать после торжества богов.

Сергея остался где-то позади — во времени, в пространстве и в голове, которая ещё гудела от недавней перепалки. Всего какой-то час назад они спорили у самого входа в парк о том, какое мороженое правильное, «пломбир или молочное», и Сергей в своей безапелляционной манере заявил, что всё, что не пломбир, — «развод для лохов», а заодно добавил, что Москва в последнее время ведёт себя «как-то странно», и что у него от неё «фантомные боли в кошельке». Лиза тогда лишь закатила глаза. Сейчас, шагая по брусчатке под светом фонарей, которые устойчиво горели и, слава богам, не мигали, она думала о том, что Сергей, при всей его громогласности, на самом деле чувствовал то же самое, что и она. Просто он называл это «странно», а она пока не подобрала слова.

Какая-то часть её всё ещё ждала, что мир вот-вот окажется прежним — скучным, предсказуемым, с расписанием автобусов и ценником на картошке в супермаркете. Но мир, кажется, не собирался возвращаться. Сегодня вечером она не просто поссорилась с молодым человеком. Она, если верить собственным ощущениям, погасила фонари. Целую аллею фонарей. Одной только силой мысли, а точнее — злости, которая оказалась острее и тяжелее, чем положено обычной человеческой злости. «Массовая галлюцинация, — прошептала она себе под нос, вспоминая дурацкое объяснение, которое успела придумать Сергею на ходу. — Мороженое было некачественное». Глупо, конечно. Мороженое вообще не бывает галлюциногенным, по крайней мере легальное. Но людям почему-то легче верить в сбой в пищевой промышленности, чем в то, что городская сеть может откликнуться на твоё настроение. Лиза вздохнула. Может, дело именно в этом — людям нужны «скучные объяснения», чтоб не сойти с ума.

Она дошла до Пушкинского моста и, не стовариваясь с собственными ногами, ступила на него. Мост гудел под ногами той низкой, монотонной вибрацией, которая есть у всех настоящих больших мостов, — звук, который успокаивает, если не думать о его устройстве. Внизу катила свои волны река, а по ней, торжественно и неторопливо, плыл огромный белый теплоход, весь в огнях, похожий на пасхальный кулич, который решил прогуляться по воде. На его палубе, если бы можно было разглядеть, наверняка танцевали влюблённые пары — те, кому не приходит в голову спорить про мороженое. И Лиза вдруг остро, до щекотки в кончиках пальцев, позавидовала им. Просто плыть. Просто танцевать. Просто не знать, что где-то в городе кто-то погасил фонари силой злости.

И именно тогда, когда Лиза размышляла, не является ли её внезапная способность тушить свет признаком скрытой суперсилы или просто проблемами с проводкой во всём районе, она заметила ЕЁ.

На скамейке, с видом на воду, сидела женщина. Вернее, сначала Лиза заметила кота. Огромного, чёрного, как сама бездна, с глазами цвета драгоценного изумруда, в которых пля-

сали искры, явно не имеющие отношения к уличному освещению. Кот восседал на коленях у дамы с видом свергнутого монарха, принимающего дань.

Дама была под стать коту. Черноволосая, стройная, с неопределённым возрастом — ей могло быть и тридцать, и триста лет, в зависимости от того, как падал свет. Одета она была в чёрную кожаную юбку и чёрную кожаную куртку, расшитую тончайшей серебристой паутиной, которая, казалось, слегка вибрировала, когда дама дышала. Вся она была словно стусок ночи, решившей принять форму человека и посидеть на набережной, чтобы выпить кофе.

— Добрый вечер, Елизавета, — произнесла дама голосом, который напоминал шорох осенних листьев и мурлыканье одновременно. — Чудесная ночь для прогулок, не правда ли? Особенно когда так удачно гаснут фонари.

Лиза замерла. Во-первых, дама знала её имя. Во-вторых, она знала про фонари. В-третьих, кот, который только что сидел смирно, вдруг зевнул и произнёс, не разжимая клыков:

— Согласен. Давно я не видел такой многообещающей спонтанной некромантии освещения. Девочка, у тебя талант. Правда, бестолковый пока, но талант.

Лиза моргнула. Кот говорил. Кот говорил! В её голове что-то щёлкнуло, словно переключился тумблер с надписью «Реальность» на «Да какая разница, всё равно вторник».

— Я, кажется, перегрелась на солнце, — сказала Лиза, хотя солнце село несколько часов назад. — Или это Серегин спор о мороженом дал осложнение на мозг.

— Нет, дорогая, — улыбнулась дама. — Просто ты наконец-то открыла глаза. Или, вернее, закрыла их для обычного мира и открыла для истинного. Присаживайся. Меня зовут Эльвира Армагедонновна. А этого мохнатого нахала — Асмодей. Но ты можешь звать его просто Мотя, он это ненавидит.

— Я не ненавижу, — лениво парировал кот, переворачиваясь на спину и подставляя живот для почёсывания, хотя Эльвира и не думала его чесать. — Я презираю. Это разные вещи. Ненависть — удел низших демонов, а я — высший фамильяр.

Лиза, повинувшись какому-то внутреннему порыву, села на край скамейки. Эльвира Армагедонновна пахла ночными фиалками, старыми книгами и озоном, как воздух после грозы. Её серебристая паутина на куртке при ближайшем рассмотрении оказалась не вышивкой, а настоящей паутиной, которая, казалось, росла прямо из кожи. И она слегка светилась.

— Вы... Вы тоже ведьма? — спросила Лиза, чувствуя себя героиней дешёвого сериала, но не в силах удержаться от вопроса.

— Я — много кто, — туманно ответила Эльвира. — Но «ведьма» — самое простое и понятное определение для человеческого ума. Хотя, если быть точной, я — Смотрительница Равновесия. Слежу, чтобы магия не выходила из берегов, а такие, как ты, не тушили заодно и солнце, когда у них плохое настроение.

— А я, значит, ведьма? — Лиза почувствовала, как её губы растягиваются в глупой улыбке. Ещё утром она спорила о пельменях, а теперь сидит с дамой по имени Эльвира Армагедонновна и её говорящим котом.

— Пробуждающаяся, — поправил её Асмодей, лениво взмахнув хвостом. — Искра есть, но пока это просто искра. Ты как спичка, которая думает, что она — лесной пожар. Горишь, но недолго.

— Не слушай его, — Эльвира легонько щёлкнула кота по носу, и тот чихнул облачком серы. — Он просто вредничает, потому что ему пора ужинать. Ты, Лиза, стоишь на пороге очень важного открытия. В тебе пробудилась древняя сила. Сила, которая дремала, возможно, со времён твоей прапрабабушки, которую, кстати, звали Агафья Грозовая, и она умела варить такое зелье, от которого коровы давали не молоко, а сразу йогурт.

Лиза слушала, затаив дыхание. Всё это было безумно, нелепо и совершенно не укладывалось в её картину мира, где самым мистическим событием была возможность доехать от дома

до работы без пробок. Но где-то глубоко внутри, в том самом месте, которое отвечает за веру в чудеса, она знала — это правда.

— Почему я? — спросила она. — Почему вы подошли именно ко мне? Ну, знаете, в Москве полно людей, которые, наверное, гаснут фонари почище меня.

— Хороший вопрос, — Эльвира сложила руки на коленях, и кожа на её куртке тихо скрипнула. Серебристая паутина на мгновение вспыхнула, словно одобряя вопрос. — Так вот, Лиза: фонари гаснут у многих. У подростков в переходный возраст, у влюблённых в особенно пафосные моменты, у программистов, когда они близки к деплою в пятницу вечером. Но то, что произошло с тобой сегодня, — это не встроенный в человека предохранитель. Это был первый настоящий выброс. Спонтанный, произвольный, но совершенно точно осмысленный. Ты не просто сожгла лампочку случайной эмоцией. Ты захотела — и погасила. Понимаешь разницу?

Лиза понимала. Она и сама почувствовала эту разницу: сегодня вечером она была не жертвой случайности, а хозяйкой. Пусть на одну аллею, пусть на пять минут — но хозяйкой.

— Да, — тихо сказала она. — Понимаю.

Эльвира смотрела на неё ещё несколько секунд, будто проверяя, не притворяется ли девочка, а потом чуть заметно кивнула — себе, а не ей, словно поставила галочку в невидимом списке. Кот на её коленях всё это время сверлил Лизу изумрудными глазами, и было в этом взгляде что-то от инвентаризации: прикидывали, сколько в ней добротного материала и сколько брака, который придётся списывать.

— Мотя, хватит пугать девочку бухгалтерией, — сказала Эльвира, не оборачиваясь.

— Я не пугаю, — отозвался кот, не отводя взгляда. — Я оцениваю. Это разные вещи. Пугают собаки, когда лают на почтальона. А я, как кот, молча пересчитываю, сколько в тебе, Лиза, ужинов, а сколько — зубов. Пока что баланс скромный, но перспектива есть.

— Спасибо, утешил, — проворчала Лиза, но уголки губ у неё предательски дрогнули.

Она не выдержала и наконец спросила то, что вертелось на языке с той самой секунды, как кот открыл рот:

— А ты... давно такой? Ну, говорящий? Ты как им стал?

Асмодей приподнял бровь — у котов, как выяснилось, она тоже есть, надо только захотеть.

— «Стал»? — переспросил он с лёгким презрением, какое бывает у стариков, когда им говорят «вы так молодо выглядите». — Деточка, я не «стал». Я всегда был. Твой город ещё пах свежей известью и не знал, что здесь построят Москва-Сити, а я уже ходил по этим берегам и считал, сколько на них уместится закатов. Говорить я научился примерно тогда же, когда люди придумали первое колесо и решили, что оно им непременно нужно. Я был при этом и, честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что не зря.

— То есть ты... — Лиза осеклась, подбирая слово, — ты очень старый?

— Старый? — Кот хмыкнул и лизнул лапу. — Девочка, старым бывает молоко в холодильнике и коллекционный коньяк. А я — древний. Это другой ассортимент. И не старайся выяснить, сколько мне лет: всё равно упрёшься в число, после которого начинаешь думать, что обманула калькулятор.

— Веди себя прилично, — мягко одёрнула его Эльвира. — Ты пугаешь девочку мохнатой философией. Лиза, не обращай внимания. Мотя — это энциклопедия, которая считает себя комментатором. Пользуйся знаниями, но не верь мнениям.

— Ах, значит, мнения у меня невежественные, — Асмодей демонстративно повернулся к ним хвостом, однако ухо его осталось повернутым в сторону Лизы — так кошки слушают, когда делают вид, что им всё равно.

Лиза невольно сравнила этот разговор с тем, как она обычно общается с Сергеем: тот умел говорить громко, не переставая и не сомневаясь, но за громкостью почему-то никогда

не стояло столько же смысла. Здесь же ей казалось, что она разговаривает с самим городом, который прикинулся женщиной и котом, чтобы не напугать её с порога.

— Хорошо, — тихо сказала она, скорее себе, чем им. — Допустим, я вам верю. И что дальше?

Эльвира прищурилась, и в темноте её глаза блеснули так, как блестят у кошек, когда они уже выбрали, но ещё не решились прыгнуть.

— Дальше — прогуляемся, — сказала она и встала, а кот с той же незаметной грацией, с какой осыпается с ветки снег, перетёк к ней на плечи, обернулся вокруг шеи живым, мурчащим воротником. Его янтарные глаза теперь оказались ровно на уровне глаз Лизы, и в них читалась вековая скука, смешанная с лёгким любопытством. — Пушкинская набережная в это время суток особенно поучительна. Для тех, кто умеет видеть, разумеется.

Они пошли вдоль Москвы-реки. Набережная, о которой днём можно было сказать только «шикарная парковая инфраструктура» и «удобные лавочки», сейчас преображалась. Двух-уровневое пространство — верхний ярус с велодорожкой и нижний, прямо у воды — казалось порталом между мирами. Наверху ещё слышался шум машин и редкие голоса запоздалых велосипедистов. Внизу, у воды, царила тишина, нарушаемая лишь плеском волн и их шагами.

— Видишь ли, Лиза, — начала Эльвира, и её каблук зацокали по брусчатке в унисон с Лизиными, — магия — это не фокусы с кроликами и не левитация столов. Это, в первую очередь, знание. Знание того, как устроен мир. А мир устроен гораздо сложнее, чем написано в твоих учебниках. Он слоёный, как пирог «Наполеон». И ты, сама того не зная, сегодня лизнула крем с магического слоя.

— Я просто пошутила про ведьму, — призналась Лиза, глядя на воду, в которой отражались огни Пушкинского моста. — И фонари... они просто погасли.

— Случайности не случайны, — нравоучительно произнёс Асмодей с плеча Эльвиры. — Особенно когда дело касается магии. Ты выплеснула эмоцию, подкрепила её спонтанным намерением — и вселенная, как хорошо обученный официант, принесла тебе заказ. Ты заказала темноту и панику одного конкретного самца. Получи. Распишись.

— Асмодей, не пугай девочку раньше времени, — усмехнулась Эльвира. — Но в целом он прав. Магия — это диалог с реальностью. И ты сегодня показала, что умеешь говорить. Грубо, на уровне крика, но умеешь. Вопрос в том, хочешь ли ты научиться говорить шёпотом так, чтобы горы двигались?

Лиза хотела ответить, но слова куда-то запропастились — то ли испугались вопроса, то ли им просто стало тесно в такой серьёзный момент. Она шла и думала о том, сколько всего вместил этот вечер: мороженое, спор, погасшие фонари, говорящий кот, женщина, которая называет себя Смотрительницей Равновесия, будто это просто должность, а не приговор. И впервые за весь вечер ей подумалось, что всё это не случайно — что эта ночь её ждала.

Они остановились у скульптуры «Водолаз-маяк», который в лунном свете казался стражем подводного царства. Лиза молчала, и в этой тишине — гулкой, вязкой, в которой слышно, как тикает вода у гранита и как где-то далеко вздыхает мост, — она сделала то, чего от самой себя не ожидала: прищурилась и просто посмотрела на набережную по-новому, не как на место, а как на что-то живое. На мгновение ей показалось, что воздух стал чуть гуще, как перед грозой, а тени у фонарей — чуть длиннее, чем им положено по законам физики.

— А смогу я это увидеть? — вдруг спросила она, и вопрос вырвался раньше, чем она успела его обдумать. — Ну... слой. Ты говорила, мир слоёный. Могу я просто... посмотреть?

Эльвира остановилась и внимательно посмотрела на неё, будто взвешивая что-то на невидимых весах. Потом медленно, осторожно, как делают с чем-то очень хрупким, кивнула.

— Можешь. Только не напрягайся, — сказала она тихо, и её голос вдруг стал другим — не шуршащим, а почти музыкальным, как струна, к которой прикоснулись пальцем. — Не смотри. Пусть само придёт. Представь, что ты не смотришь на город, а слушаешь его. И не

слухом, а вот здесь, — она дотронулась до переносицы Лизы, где-то между бровями. — Там, где у обычных людей живёт страх перед темнотой, у нас живёт освещение. Попробуй.

Лиза послушно закрыла глаза, потом открыла и попробовала не смотреть. Прошло несколько секунд томительного ничего. А потом мир по краям, как засохшая акварель, начал отслаиваться, и под ним проступило другое — не картинка, а сеть. Тонкие, полупрозрачные, светящиеся линии — серебристые, голубоватые, кое-где золотистые — протянулись от фонаря к фонарю, от дома к дому, от моста к колокольне, переплетаясь в узлы там, где стояли скамейки, перекрёстки, старые деревья. Они не были ничем, что можно было бы потрогать, но они были видны, как видны прожилки на мраморе, если знать, где смотреть. Лиза затаила дыхание. Эта паутина дышала — медленно, ровно, как спящий гигант, и где-то в её глубине, в самом узле под Кремлёвской стеной, пульсировало что-то, похожее на туго натянутый барабан.

— Это... — выдохнула она, не смея повернуть голову.

— Код, — подтвердила Эльвира, и в голосе её слышалась мягкая гордость первоклассника, показавшего учителю правильно решённую задачу. — То, о чём я говорила. Слой. Самое первое, что видит тот, кто открыл глаза. Не волнуйся, — добавила она, заметив, как Лиза покачнулась, будто её затошнило от глубины, — пройдёт. Первый раз всегда подкашивает. Это как впервые встать на коньки: и больно, и страшно, и уже не слезть.

Лиза моргнула, и паутина погасла, свернувшись обратно в обычную ночь. Фонари снова были просто фонарями, а набережная — просто набережной. Но что-то под веками осталось, как остаётся на языке привкус после очень хорошего чая.

— Ну и как это называется? — раздался с плеча Эльвиры насмешливый голос Асмодея. — Ты ей уже показала городскую сеть? Без подготовки? Эльвира, ты же знаешь, что после такого полагается плакат «Осторожно, магия!» и валидол.

— Она справилась, — спокойно парировала Эльвира. — И вообще, не ворчи. Ты сам всю жизнь мечтал, чтобы кто-нибудь увидел твою паутину без твоих пояснений.

— Моя паутина — другое дело, — фыркнул кот, однако на его морде появилось едва заметное выражение, которое у кошачьих соответствует гордо выпяченной груди. — Моя паутина — это паутина, я её плету по высшему разряду, с узлами и подстраховкой. А вот эта, городская, — он величественным жестом лапы обвёл набережную, — её вообще никто не плетёт специально. Она растёт сама, из желаний, привычек и общих снов. Город — это большая паутина, которую кто-то всё время плетёт, а никто не помнит кто. Или, — добавил он, лениво прищурившись, — не хочет помнить.

— Он намекает на Смотрителей, — пояснила Эльвира Лизе. — Тех, кто отвечает за то, чтобы эта сеть не порвалась и не упала на головы горожан. И чтобы такие, как ты, — она чуть заметно улыбнулась, — не рвали её зря, по неосторожности.

— Смотрители... — повторила Лиза, пробуя слово на вкус, как пробуют незнакомую еду, прежде чем решить, смеётся над ней меню или нет. — Это вы? Ну, все вы? Сколько вас?

— Много, — ответила Эльвира с таким видом, с каким отвечают «не знаю» на вопрос, на который знают очень много ответов. — И мало. Часть нас стоит на въездах, как таможня, — следит, чтобы чужая магия не приезжала без визы. Часть — в узлах, где сеть тоньше всего, чтобы она не порвалась от ветра, от чужого горя или от пьяной свадьбы на Патриарших. А кто-то, — она помолчала, — кого уже не видно, потому что он врос в эту сеть настолько, что стал её частью. Их вспоминают, только когда сеть болит.

— Болит? — переспросила Лиза. — Она же... это не живое.

— А ты сегодня вечером живая? — вопросом на вопрос ответила Эльвира. — Сеть не живая в том смысле, в каком жива кошка или трава. Но она — чуть больше, чем просто провода. Она собирает то, что люди забыли высказать: невысказанные сожаления, несъеденные обеды, неотправленные «я тебя люблю». И ей, знаешь ли, тоже бывает уютно и неуютно.

Асмодей по-хозяйски принялся к воздуху и добавил:

— Смотрители нужны, чтобы у этой машины не было немой хандры. Город, если за ним не смотреть, начинает скучать. И тогда вместо того, чтобы работать, он начинает мечтать — а мечтающий город, поверь, куда опаснее протухшего молока. Может начать разворачивать улицы в сторону, куда тебе вовсе не надо, просто потому, что ему так красивее.

Лиза посмотрела на сеть, которую уже не видела, но помнила, и вдруг поймала себя на том, что смотрит на Москву не как на набор адресов, а как на что-то живое.

— А если я её порву? — спросила она, стараясь, чтобы вопрос прозвучал небрежно, но из-под ногтей почему-то вырезало тоненькую струйку прохлады.

— Тогда она зашьётся сама, — ответила Эльвира. — Паутина всегда затягивается. Вопрос в том, что останется на заплатке. Иногда — шрам. Иногда — дверь.

Она чуть наклонила голову, и в этом наклоне Лизе почудилось что-то почти нежное, как будто её проверяли не на прочность, а на бережность.

— Ты боишься, что натворишь бед, — сказала Эльвира, и это был не вопрос, а диагноз, поставленный мягко. — Это правильно. Бояться — признак того, что ты не собираешься творить. Опасно, когда перестаёшь бояться — и начинаешь рвать паутину просто потому, что можешь. Вот тогда прихожу я. Или кто-то вроде меня. И тогда уже не до валидола.

— Я запомню, — тихо сказала Лиза, и ей показалось, что она и правда запомнит — навсегда, пока будет помнить эту ночь, этот мост и эту паутину под веками.

— Пойдём, — сказала Эльвира и, на этот раз осторожно, чуть заметным кивком, позвала её за собой, — нам ещё много о чём поговорить, а ночь не резиновая. По крайней мере, у этой части города. Но прежде, чем мы пойдём дальше, я хочу показать тебе кое-что. То, что видно только вблизи.

Она свернула с верхнего яруса к широким гранитным ступеням, ведущим вниз, к самой воде, — туда, где каменные плиты помнили больше, чем рассказывали, а река подходила к самому парапету вплотную, как подходят к старому знакомому, чтобы положить ладонь ему на плечо.

Лиза на мгновение замерла на верхней ступени и сделала первый шаг вниз, навстречу плеску, навстречу воде, навстречу тому, что видно только вблизи. И ноги её, судя по всему, в этот вечер встали на сторону Эльвиры, пока собственная голова ещё только раздумывала, не является ли всё это сном, съевшим слишком много мороженого.

Глава 3. В которой набережная становится классной комнатой, а кот — лектором

Магия не ждёт опоздавших — она, как тесто, требует точного времени.

Эльвира Армагедонновна поднялась со скамейки так, словно делать это ей было и в удовольствие, и в тягость одновременно: ладно, мол, встану, но вы все ещё пожалеете. Асмодей, лежавший у неё на коленях чёрной бархатной горой, перетёк ей на плечи с той незаметной дрессированной грацией, с какой опытные носильщики перекладывают чемодан из одной руки в другую, — и сомкнул кольцо вокруг её шеи, превратившись из живого воротника в мыслящий. Глаза его теперь оказались ровно на уровне глаз Лизы, и в их изумрудной глубине можно было прочесть одну-единственную строчку, написанную мелко и без сожаления: «Ну вот, начинается».

— Прогуляемся, — объявила Эльвира и сделала первый шаг в сторону воды, не оглядываясь, совершенно уверенная, что Лиза пойдёт следом. И Лиза пошла. Не потому, что её тянули за руку или уговаривали, а потому, что ноги у неё в этот вечер, судя по всему, встали на сторону Эльвиры, пока собственная голова ещё только раздумывала, не является ли всё это сном, съевшим слишком много мороженого.

Пушкинская набережная в этот час была именно такой, какой ей полагалось быть в сумеречном романе, если бы сумеречные романы снимали за деньги ЖЭКа: заброшенной, влажной, чуть-чуть театральной. Верхний ярус, где днём катили велосипедисты и толкали коляски бабушки с внуками, уже опустел — только редкая лампа подсвечивала асфальт, да вдалеке одинокий спортивный таймер мерно отсчитывал чьё-то медленное одиночество. А внизу, у самой воды, куда спускались широкие гранитные ступени, было совсем тихо. Москва-река дышала у парапета так же ровно, как дышат старые коты, которым уже всё равно, что подумает о их дыхании молодёжь.

— Смотри, — сказала Эльвира, останавливаясь на верхней ступени и обводя рукой двухъярусную набережную, как обводят экспонат в музее с очень плохой сигнализацией. — Два уровня. Наверху — шум, спешка, люди с телефонами, которых интересует только, где бы поесть и не опоздать ли на метро. Внизу — река, тишина и то, что река помнит. Между этими двумя уровнями нет никакой перегородки, кроме каменной ступени, но живут они в разных мирах.

— Красиво, — осторожно согласилась Лиза. — Неужели это и есть вся магия — прогуливаться по набережной и философствовать про уровни?

— Философия, — фыркнул Асмодей сверху, и его хвост качнулся, как секундная стрелка на старых часах, — философия — это когда у тебя нет денег на то, чтобы сделать, и приходится говорить, зачем оно надо. А это, девочка, не философия. Это — первый урок. И ты сейчас стоишь на его пороге, даже не сняв обувь.

Эльвира мягко посмотрела на кота, и тот умолк с видом человека, которого прервали на полуслове, но который всё равно уже всё сказал. Потом она перевела взгляд на Лизу — и от этого взгляда, тёмного и спокойного, как вода под Луной, Лизе почему-то захотелось выпрямиться и перестать жевать резинку, хотя резинку она давно выбросила за неимением.

— Мир, Лиза, — начала Эльвира, и голос у неё сделался таким, каким читают лекции только тогда, когда лекция важнее самого преподавателя, — мир устроен не так, как написано в твоих конспектах по сопромату. Он слоёный. Слоёный, как пирог «Наполеон». Ты, наверное, думала, что это я вчера так поэтично выразилась, для красного словца, чтобы ты запомнила моё лицо.

— Ну, вы вообще запомнились, — честно призналась Лиза. — С котом, который говорит, лицо не забудет даже человек, у которого память как у кастрюли.

— Приятно, — кивнула Эльвира, не отвлекаясь от мысли. — Но «пирог Наполеон» — это не метафора, а рабочая модель. Представь: у мира есть коржи. Самый верхний корж — тот, в котором ты живёшь по будням: институт, метро, мороженое, Серега, вечно недовольный алгеброй. Под ним — корж чуть толще и темнее: там гуляют вещи, в которые люди перестали верить, но которые от этого не похудели ни на грамм. Ещё ниже — корж, где уже не совсем люди и не совсем вещи, а, скажем, реки с их мнениями и мосты с их характерами. И так далее, — она повела рукой, — до самого тарелочного дна, где ни коржей, ни крема, а одна сплошная, тёплая, древняя начинка, из которой всё и растёт.

— И я туда... лизнула? — осторожно спросила Лиза, вспоминая вчерашний вечер и погасшие фонари.

— Ты сделала хуже, — веско сказала Эльвира. — Ты проткнула корж насквозь, даже не спросив разрешения. Не иглой, не ложечкой — эмоцией. Ты, сама того не зная, вытащила из нижних слоёв кусок их силы и приложила его к верхнему коржу, где он совсем не ко времени скомандовал фонарям «выключиться».

Они спустились на нижний ярус, и Лиза ощутила, как каменная плита под ногами стала заметно холоднее, словно река делилась с ней своей температурой через гранит. Вода плескалась почти касательно парапета; по её тёмной глади гуляли блики трёх четырёх фонарей — тех, что ещё работали.

— Значит, я случайно сорвала обёртку, — проговорила Лиза, глядя на воду, — а внутри оказалась не та начинка, которую я заказывала в столовой.

— Именно, — Эльвира остановилась и развернулась к ней лицом. — Обрати внимание, как это работает. Ты выплеснула эмоцию — раздражение, обиду, смесь того, что ты тогда чувствовала к спорщику, которому плевать на твою правоту. И ты мгновенно, на автомате, сформулировала намерение: «пусть погаснут». Вселенная, которая в этом городе расторопна, как хорошо обученный официант в дорогом заведении, — она принесла тебе заказ. Спросила ли она, нужен ли тебе действительно салат? Нет. Она принесла то, что ты написала в невидимой записке.

— Получается, — медленно сказала Лиза, и кончики её пальцев снова закололо тем самым знакомым, пэущим предвкушением, — получается, эмоция плюс намерение — это как... как код, который идёт в продакшн без проверки?

Эльвира на мгновение замерла, и в её глазах мелькнуло что-то очень похожее на удовольствие. Асмодей на её плечах даже перестал чистить лапу — а он, судя по всему, чистил лапу без перерыва с тех пор, как помнит себя.

— Продакшн, — повторила она смакованно. — Мне это нравится. Вот, Мотя, смотри: она сама дошла. Мне ни слова пришлось ей про компиляцию говорить, а она уже про деплой.

— Дай ей время, — скептически отозвался кот, — она ещё до «откати назад, что-то сломалось» не доросла. Похвальна, конечно, но это только первая строчка в коде, а код у неё, судя по всему, длинный.

— И всё-таки, — Эльвира снова посмотрела на Лизу, и голос её стал тише, серьезнее, как разговор наедине с самим собой, — ты хочешь научиться говорить с миром шёпотом? Так, чтобы не крушить фонари, когда обидно, а двигать горы — когда надо. Важно понимать разницу: тот твой вчерашний выброс — это крик новорождённого, который обрушил люстру, потому что махал ручками. Есть способ научиться ручками не махать зря. Но этому учат не за один вечер, и не по инструкции, и не бесплатно, пусть и не за душу.

Лиза задумалась, глядя, как в тёмной воде колеблются блики фонарей, и попыталась представить себе это на языке, который начинал ей нравиться, — на языке, которым с ней говорила Эльвира.

— Значит, — медленно проговорила она, — мир — это такая огромная распределённая система? Вроде города, где всё связано: фонари, провода, река, дома. А магия — это не каким-то волшебным словом «открыть-сезам», а знанием, как и где проложена проводка. Чтобы что-то включить или выключить — не рубить с плеча, а знать, к какому узлу подойти.

Эльвира посмотрела на неё долгим, оценивающим взглядом, и в нём промелькнуло то самое удовольствие, которое Лиза успела заметить вчера.

— Инженерный склад ума, — сказала она, и это прозвучало как комплимент. — Мне нравится. Значит, учить тебя будет в радость. Потому что магия — она ровно про это. Не про заклинания, которые вы зубрил и произнёс с ртом, полным каши. А про понимание, какой слой ты сейчас трогаешь, что с этого слоя пойдёт в соседний и не замкнёт ли тебя, когда ты полезешь чинить проводку, невзирая на нагрузку.

— А можно ещё вопрос? — неожиданно для себя спросила Лиза. — Вчера, когда фонари погасли... это же был мой первый раз. Я, получается, сразу полезла в самую глубокую проводку, даже не взглянув на схему?

— Получилось так, — подтвердила Эльвира. — Ты, как новичок, который впервые в жизни сел за руль и нажал газ, не разобравшись, где тормоз. Хорошо, что обошлась без жертв, — а можно было, представь, погасить не только аллею, но и половину района, а заодно сжечь чей-нибудь телевизор, который в этот миг транслировал футбол. Человеческая судьба — вещь, между прочим, хрупкая: что выключишь, то уже не всегда включишь обратно.

— Я теперь понимаю, почему вы меня не похвалили, — тихо сказала Лиза. — Получается, что я... ну, не так уж и хорошо сделала.

— Ты сделала то, что умела, — мягко поправила её Эльвира. — Ты выбросила эмоцию с намерением, и мир исполнил. Это и есть первая и, возможно, самая главная строчка в твоём будущем «коде реальности»: эмоция плюс намерение равно результат. Только неопытная ведьма думает, что этого достаточно. А опытная знает: прежде чем нажимать, надо знать, куда ведёт проводка. Так что, — она слегка наклонила голову, — не казни себя. Вчерашние фонари — это не преступление, а первое упражнение. Его-то ты и сдала. Посмотрим, что дальше.

— А если я всё-таки не пойму? — спросила Лиза, и голос её прозвучал тише, чем ей бы хотелось, потому что на самом деле ей было сейчас страшно — не так, как под погасшими фонарями, а по-настоящему, от осознания масштаба того, во что она ввязывалась. — Если у меня не получится? Если я, ну, совсем безнадёжная?

Эльвира не ответила сразу. Она подошла к Лизе почти вплотную, так, что от неё пахло озоном и ночными фиалками, и положила руки ей на плечи — легко, но так, чтобы Лиза почувствовала: это не жест, а причал.

— Слушай меня, — сказала она, глядя ей прямо в глаза, и голос её был тёплым, как чашка утреннего кофе, но при этом твёрдым, как тот самый гранит парапета, на который они опирались. — Поняла ли ты, что только что сказала? Ты сказала «если у меня не получится». А я тебе отвечу: у каждой начинающей ведьмы есть момент, когда кажется, что не получается. И знаешь, что отличает тех, кого я беру в ученицы? Не то, что они гениальны с рождения. А то, что они приходят ко мне в этот свой тёмный момент — не сбегают, не замыкаются в себе, не говорят «ну всё, я не пригоден, пойду-ка я в бухгалтерию». Они приходят и спрашивают: «А как правильно?». Ты только что спросила. Значит, первокурсница, ты уже прошла первую вступительную комиссию.

— Вот как, — хрипло выдохнула Лиза, чувствуя, как от этих слов у неё окончательно отхлынул страх, а на его место пришло что-то тёплое, устойчивое, как опора под ногами. — Я, надо сказать, даже не ожидала, что вступительная комиссия так по-доброму проходит.

— Комиссии бывают разные, — весело отозвался с плеча хозяйки Асмодей, который, оказывается, всё это время внимательно слушал, приоткрыв один изумрудный глаз. — Когда я на зуб пробовал поступать в магическую академию, нас там гоняли по подземелью и застав-

ляли есть жуков. У вас же, в двадцать первом веке, всё цивилизованно: эмоция, намерение, и никаких жуков. Скука, конечно, но хотя бы перспективных учеников не кормишь насильно.

Лиза рассмеялась, чувствуя, что смеётся впервые за этот напряжённый разговор — и что смех снова звучит настоящим.

Они подошли к скульптуре «Водолаз-маяк» — странной старой статуе, которая днём выглядела примитивной парковой туристической достопримечательностью, а в лунном свете казалась стражем, застывшим на границе двух стихий: воздуха, который он охранял сверху, и воды, к которой он спускался водолазным колоколом. Ветер тянул с реки, и у Лизы пересохло в горле — не от холода, а от того, что всё происходящее вдруг показалось ей слишком настоящим. Не сном. Настоящим.

— А что я буду должна? — спросила она, и голос её прозвучал твёрже, чем она ожидала. — Ну, то есть, я понимаю, что бесплатного сыра и бесплатной магии не бывает, как не бывает бесплатного кофе у вокзала. Так что мне придётся отдать? Душу? В здравом уме расписаться кровью в книге, которая кусается?

— Ох, — фыркнул Асмодей, и его изумрудные глаза сверкнули с явным удовольствием, — кровью расписываются только в книжках, которые мамы прячут на верхнюю полку. У нас всё цивилизованно: электронная почта, двухфакторная аутентификация, пароль из заглавной, строчной, цифры и знака, которого ты будешь забывать ещё неделю. И даже файл-чекн по старшим курсам, если ты решишь, что тебе не подходит.

— А душа? — не отставала Лиза.

— Душа, — Эльвира наклонила голову, и Лиза поймала себя на том, что не может отвести взгляд от её глаз, тёмных, как река, — душа — это не товар, который продают за силу, как не продают за деньги глаз и уши, которыми смотришь и слышишь. Душа — это инструмент. Его не продают. Его настраивают. И если ты придёшь ко мне в ученицы, настраивать будем твой. Но отдавать мне его — ни в коем случае. Он мне не нужен, честно. У меня своих хватает.

— Она считает, — подал голос кот, потягиваясь, — что инструмент у тебя уже есть, просто он завёлся и играет не в ту сторону. Задача — не купить новый, а перенастроить существующий. Это как с роялем, у которого разошлись струны: не надо его сжигать и покупать у соседей по дешёвке. Надо пригласить настройщика. С твоим счастьем, настройщица стоит прямо перед тобой и ест глазами крем на пироге.

Лиза не выдержала и рассмеялась, и смех вышел настоящим, хотя в нём дрожало что-то от волнения. Она подошла ближе к парапету и положила руки на холодный влажный гранит. Москва-река плескалась внизу, едва видимая, но живая — Лиза это чувствовала кожей, тем самым невозможным, новым чувством, которое проснулось в ней вчера вместе с погасшими фонарями. Река не просто текла. Река слушала.

— Ну хорошо, — сказала Лиза, не оборачиваясь. — Допустим, инструмент у меня есть. Допустим, вы его настроите. А потом что? Я смогу... ну, не знаю, зажигать звёзды, как вы вчера сказали?

— Сначала — не палить сеть при каждой обиде, — поправил Асмодей, спрыгивая с плеч хозяйки на парапет, — а потом звёзды, в конце курса. Ты сначала дочитай «Введение в такие дела», а уже потом лезь в космос.

Он прошёлся по каменному бортику, а потом — Лизе захотелось протереть глаза, и она всё-таки протёрла, но картинка не изменилась — Асмодей ступил на воду и пошёл по ней, спокойно, как по проверенной дорожке, ступая мягкими лапами и оставляя за собой светящиеся, почти невидимые следы, которые тут же гасли на тёмной поверхности. Морок? Чудо? Скорее, просто привычка: кот-фамильяр, которому вода сделалась родным тротуаром ещё тогда, когда на этом берегу не было ни парапета, ни даже города.

Он дошёл до самой кромки, где волны лениво лизали гранит, и заглянул в тёмную воду. Из глубины что-то мягко плеснуло — то ли рыба, то ли нечто, крупнее рыбы и гораздо обидчивее.

— Да, это она, — негромко сказал Асмодей, обращаясь к воде, как к старой знакомой. — Та самая, что вчера спугнула того горластого. Русалка осталась довольна — теперь она в долгу перед тобой, что в её мирах весит куда больше, чем просьба в соцсети. Но об этом, — он подмигнул Лизе изумрудным глазом, — расскажем как-нибудь в другой раз, иначе река решит, что я на её гостеприимстве выезжаю.

Из воды донёсся укоризненный всплеск, и Асмодей, сделав вид, что не расслышал, вернулся на сушу с невозмутимостью кота, который никогда в жизни не промочил ни одной лапы.

— Люди бегут от того, чего не могут объяснить, — задумчиво сказала Эльвира, подходя ближе и кладя руку на тот же гранитный бортик рядом с рукой Лизы. — Убежать проще, чем поверить. Твой Серега убежит, потом вернётся, потом снова убежит, придумает себе масс-галлюцинацию от мороженого, загрузит Хэллоуин, а ты к тому времени уже будешь уметь разговаривать с рекой, и он этого испугается уже окончательно. Не твоя потеря, Лиза. Твоя — только ты.

Лиза почувствовала, как тепло от руки Эльвиры, тёплой даже сквозь прохладный гранит, пробежало по её ладони и запястью — маленькой, но внимательной волной, будто река между ними на мгновение стала теплее. Она стряхнула это ощущение, решив, что ей просто показалось от нервов.

— И что надо сделать, чтобы стать вашей ученицей? — спросила она, глядя, как вода колышет отражение старухи у парапета.

— Просто сказать «да» — начнётся на этой же набережной, — мягко ответила Эльвира. — Или «подумаю», и тогда магия станет ждать твоего звонка, как ждут нелюбящего гостя. Она умеет ждать, но ей не нравится, когда её заставляют ждать задаром. Она, как пирог: требует точного времени, и если ты придёшь к ней, когда тесто уже село, она тебя в духовку не пустит.

— А если я скажу «подумаю»? — поддела её Лиза, хотя сердце уже билось где-то в горле.

— Тогда «подумаю» — это тоже ответ, — кивнула Эльвира. — Уважаемый, хоть и не самый восхитительный. Но магия не любит нерешительных, Лиза. Она любит тех, кто выбрал. И не просто выбрал — выбрал и не сбился с пути после первого погасшего фонаря.

Она повернулась и пошла назад, к верхним ступеням, ведущим от реки, — и Лиза заметила, что Асмодей уже сидит на плече у Эльвиры, хотя ни секунды назад его там не было, и в изумрудных его глазах вновь мерцает то самое терпеливое, вечное скушающее знание, как у кота, который уже видел, как уходят ученики, как приходят новые и как смешивается крем в пироге мира.

Лиза немного постояла у парапета, глядя, как вода тянет за собой отражения фонарей и башни «Водолаз-маяка», и попробовала применить к только что сказанному то, что научилась за сегодняшний вечер. Она не читала и не учила наизусть — она просто прислушалась к себе, и голос внутри неё, негромкий и ясный, как отметка на чертеже, вывел: «Эмоция плюс намерение равно результат». Это засело в ней не как зубрёжка, а как строчка, которая просто была всегда, просто ждала, когда её найдут.

Рядом с ней, на самом краю парапета, всколыхнулась вода — и Лизе на мгновение показалось, что из-под тёмной глади на неё кто-то смотрит: не враждебно, а с любопытством, как смотрят на нового ученика, который только что прочитал вслух первую самостоятельную строчку. Она наклонилась чуть ниже — и ничего не увидела, кроме собственного отражения, которое вдруг показалось ей чуть более живым, чем обычно, с каким-то новым, не до конца разгаданным смыслом в серо-синих глазах.

— Ну здравствуй, — сказала она шепотом, обращаясь то ли к реке, то ли к себе в отражении, — я пока не знаю, что умею, но Эльвира говорит, уже научилась спрашивать. Считай это моей визитной карточкой.

Вода не ответила — но и не отвернулась, что Лиза решила засчитать как успех своей первой попытки флирта с рекой.

— Я подумаю, — сказала Лиза вслед, и голос её прозвучал твёрже, чем ей самой хотелось бы. — Действительно подумаю.

— Думай, — не оборачиваясь, ответила Эльвира. — Но помни: я, в отличие от пирога, свои слои ждать вас не буду бесконечно долго. И, — она сделала паузу, и ветер с реки донёс до Лизы запах ночных фиалок с ноткой озона, — когда решишь, ты уже будешь знать, где меня найти. Найти

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.